

Александр Секацкий

ЖЕРТВА И СМЫСЛ



ЛЮДИ И КНИГИ

Санкт-Петербург

Раздел 1

ЖЕРТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ: МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

1. ЖЕРТВА И СОЗИДАНИЕ

Вопрос о смысле

В антропологии, практически во всех ее версиях – от полевой этнографической антропологии до метафизических текстов Батая, Кайуа и Макса Шелера – тема жертвоприношения проходит красной нитью или, по крайней мере, пунктиром и особенно ярко проступает там, где нет сколько-нибудь внятных рациональных объяснений. В огромном массиве антропологической литературы подробно описаны детали соответствующего ритуала, описаны жертвенники и святилища, которые, чем архаичнее эпоха, тем ближе оказываются друг к другу вплоть до исходной неразличимости, как если бы когда-то, сотворив человека, демидург обратился бы к нему с первыми словами: «И вот тебе жертвенник для всеожжения, и да не будет тебе других святилищ кроме него!» Потребовалось время, если угодно, время остывания, чтобы появились и иные святилища, святилища другого типа, способные поддерживать некую альтернативную связь с богами, с тем светом...

Подробно, тщательно описан «состав» жертвенного приношения и последовательность церемоний, исследованы этапы эволюции, которая в обобщенном, кратком виде выглядит так: прямая жертва, замещающая жертва,

жертва символическая – то есть преобладает ранжирование по принципу облегчения (инфляции) ставки. Выделяются и другие модальности жертвоприношения: жертва предварительная, компенсирующая, искупительная. Хуже всего дело обстоит с попытками объяснения, например, с мироустроительной функцией жертвоприношения.

Из многочисленных описаний, от Фрэзера до Рене Жирара, мы узнаем, что «верить», «приносить жертву», «быть человеческим существом», «поддерживать жизнеспособность социума» – понятия близкие, переходящие друг в друга. Но остается неясным, что же в них созидющего, какова характеристика великой производительной силы жертвоприношения?

Что, собственно, производится этим актом? В общих чертах можно согласиться с Батаем, Кайуа и Жираром: свобода и суверенность – то есть фундамент человеческого в человеке. Но как именно и почему? Все это пока остается тайной.

Парадоксальная логика

Есть плоская геометрия Пифагора – Евклида, существует стереометрия в разных вариантах, есть и современная алгебраическая геометрия – причудливая, невероятная и необозримая, если стоять внутри Пифагорова треугольника, но, в конечном счете, объясняющая и санкционирующая этот самый треугольник. И логика расширялась и преобразовывалась – от аристотелевской силлогистики до математической логики и логики возможных миров; диалектика тоже есть логика высоких измерений, как бы к ней ни относиться. Как же она работает в случае жертвоприношения, как объясняет этот демиургический акт

учреждения трансцендентного? Здесь мы имеем дело с самым ядром универсального космогонического мифа. Например, жертвоприношение Пуруши, которого приносят в жертву, рассекая на части, а затем из этих же частей вновь составляют тело. Это можно понять как пересотворение: сначала заготовка и лишь затем, после жертвоприношения, *сам человек*. Без жертвоприношения человеческое еще не конституировано, и Пуруша, скорее, Голем до этого высшего демиургического акта.

Авраам заносит жертвенный нож над Исааком, он готов принести в жертву не себя, а того, кто дороже ему, чем он сам – единственного, долгожданного (всю жизнь) сына, – и нет сомнений, что он сделает задуманное, если только сам Господь не отведет его руку и не усмотрит другого агнца для всесожжения. Перед нами Жертвоприношение с большой буквы, и оно есть основа Завета, и остается лишь удивляться, как стыдливы и трусливы интерпретаторы, внушающие разными способами читателю, что Господь не мог и не собирался принимать жертвоприношение Авраама (интерпретаторы, особенно сегодняшние, наивно полагают, что паства не вынесла бы такого Бога, который, не дрогнув, принял бы жертву, хотя для первых уверовавших требовалось объяснение как раз тому, почему Бог руку Авраама отклонил, поставив под угрозу надежность Завета).

Еще один бог, собственно, Один, требовал себе регулярной жертвы, и когда ничего подходящего не оказалось, принес себе в жертву самого себя. Он совершил операцию, непосильную для диалектики, – и подобными примерами полны космологические системы мира. Но, не вдаваясь в антропологические тонкости, поставим вопрос ребром: почему же непременно нужно лишать жизни, убивать,

истреблять, терять и отказываться для того, чтобы учредить человеческий мир и обрести прочные устои? Почему бы не прибегнуть к вариации какого-нибудь благого пожелания типа «давайте жить дружно»? Или взять популярный лозунг одомашненной Европы «мы такие разные, и все-таки мы вместе» – почему же ни в одной космогонии мир не начинается с таких или подобных слов? С девизов дружбы, приветливости, терпимости? Дело всегда обстоит иначе: либо мы совершим жертвоприношение, оказавшись втянутыми в деяние добровольно принятой и даже приглашенной смерти, либо с экзистенциальным измерением бытия ничего не выйдет – реактор по производству души не заработает.

Вслед за принесенной жертвой начинается избывание, искупление, если угодно, утоление боли, муки, но все дело в том, что этой муки нельзя было избежать. Можно установить, восстановить мир, если мириться, но если нет повода «мириться», то нет и мира. А что есть? – глиняная заготовка, которую следует омыть горячей жертвенной кровью, иначе она не станет человеческой плотью, так и останется глиной.

Нужно также удивительным образом приостановить простую транслируемую тавтологию «*a* есть *a*», рассечь ее и произвести неравенство, вызвать инопричинение изнутри самопричинения. Что-то вроде такого:

a есть *a*

a есть *не-а*

a есть *b*

И вот теперь *a* есть воистину *a*.

Впрочем, одна и та же логическая сила может скрывать в себе вещи, не имеющие отношения друг к другу, может скрывать решающие различия.

Обратимся к метафизике

А что же философия с ее важнейшей задачей описывать решающие акты производства человеческого в человеке? Что она говорит о жертвенности и созидании? Увы, немного, в основном то, что и так знает антропология: *жертва лежит в основе солидарности, свободы и суверенности*. Жертва положена в основу важнейших человеческих вещей, как принесенное в жертву животное кладется в основу, в фундамент возводимого дома, которому предстоит стоять долго и давать приют полноценной человеческой жизни. И если ты не принесешь жертву, ты не защитишь свой кров (основы общежития) – что и подтверждает совокупный опыт архаики. На вопрос, почему, собственно, не защитишь, почему именно для *мирности мира* требуется возобновляемое жертвоприношение, свой ответ дает Рене Жиар: суть в том, что наступает жертвенный кризис. Если вкратце резюмировать ход мысли Жирара, получится следующее: в обществе накапливается сорное, не канализованное насилие, и оно должно быть сосредоточено на подходящей жертвенной фигуре, как бы втиснуто в нее и правильно погребено в огне жертвенника. Лишь тогда происходит избывание, новое тело Пурushi может вздохнуть полной грудью. Но жертвенный кризис, как ясно из самого термина, призван объяснить очистительную работу жертвоприношения, но не его первопричину. Она же сама вновь ускользает от объяснения, дело ограничивается констатациями, хотя и они, конечно, достаточно важны.

Этимология индоевропейских философских терминов более или менее ясна, выявлены базисные метафоры: универсальная метафора ткачества (ткань (text),

основа и уток, связующая нить), метафора строительства (фундамент, устой, архитектоника) – и что уж говорить про оптикоцентрическую, или паноптическую, метафору. С «жертвенной» метафорой дело в языке философии обстоит куда сложнее и запутаннее.

Конечно, вспоминается «работа негативности», которую Гегель рассматривал как основу живой жизни понятий*. Гегелевская негативность, как справедливо отмечает Кожев, лежит в основе самости и протеста**, и жертвенное начало проглядывает в ней, особенно когда Гегель говорит об абсолютной разорванности, на которую тем не менее следует решиться. В каком-то смысле притягательность гегелевской философии, ее удивительная применимость вытекают из близости к великой жертвенной практике, но мешают опасения, которые Гегель так и не смог преодолеть. Если угодно, это слишком прямое и поспешное сведение жертвоприношения к «пользоприношению», попытка удержать их в одном плане имманенции. Между тем жертвоприношение учреждает мир суверенности и если и приносит пользу, то лишь такую, которая будет точно бесполезной здесь и сейчас, точнее, будет губительной для текущего пользоприношения.

Жертвенность не вытекает ни из какой логики, она выстроена не как инобытие, а как трансцендирование, она в каком-то смысле является более радикальным трансцендированием, чем смерть. Смерть наступает и достойных и недостойных, она ожидаема и всегда лишь отложена, отсрочена: существуют ситуации и контексты, в которых ожидание смерти не отличается от ожидания ужина.

* Гегель Г. В. Ф. Наука логики. – СПб., 2012. – С. 383.

** См.: Кожев А. В. Идея смерти в философии Гегеля. – М., 1998.

Но жертва, особенно в ее соотношении с самой собой, как самопожертвование, обостряет неразборчивую смерть собственным сознательным выбором, включая факт, место, день и час. Да, никто не знает ни дня, ни часа своего – никто, за исключением приносящего себя в жертву.

И это, конечно, трансцендентальный акт созидания, запуск новой причинности *causa sui*. То есть жертвоприношение есть способ определиться на местности, если под «местностью» понимать рельеф бытия. Учреждается ось координат, уходящая в трансцендентное, где сейсмический центр новой причинности, исходящей от эксклюзивной точки, перебивает действие «старой» причинности, уже не способной причинять ничего существенного, ничего экзистенциального (закон свободы отменяет законы природы – согласно Канту). И это как раз сила созидания.

«Если Бога нет, то все позволено», – утверждает герой Достоевского. Скажем теперь так: если жертвоприношения нет, если оно не совершается больше, то ничего не доступно, ничего из того, что принято относить к высшим человеческим устремлениям. Жертвоприношение открывает горизонты далекого доступа.

Аскетическое и жертвенное

Удивительно, но учреждающую, мирозозидающую роль жертвоприношения практически без внимания оставил Ницше. Зато его внимание непрерывно привлекала аскеза и аскетический идеал – нечто близкое и родственное жертвоприношению, хотя степень этого родства установить не так просто. Вспомним его знаменитое определение аскетизма: «Жизневраждебная специя, необходимая

для произрастания самой жизни»*. То есть жало аскезы направлено туда же, куда и жертвенный нож: возникает искушение рассмотреть аскезу как жертвоприношение, растянутое во времени. Следует приостановить простую экспансию присутствия по линии наименьшего сопротивления и обратить силу преодоления на себя самого. И тогда что – произойдет «разбиение сосудов» согласно философии Хабада? Прежние враги придут на помощь? Будет предотвращен незаметный захват самости?

Да, все это и многое другое: авторизация, обретение суверенности, учреждение себя как иного и иного как себя... Самое глубокое понимание этих моментов, как всегда, присутствует у Достоевского. Вот что говорит старец Зосима:

«Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли и в сих стенах затворились, а, напротив, всякий сюда пришедший, уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле... И чем доле потом будет жить инок в стенах своих, тем чувствительнее должен и сознавать сие. Ибо в противном случае незачем ему было приходиться сюда. Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и перед всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигнется»**.

Чтобы получить благодать, святость и силу, нужно оказаться виновнее всех, принести в жертву счастливое, уверенное в себе сознание и взамен – приобрести мир. То есть, скорее, учредить мир, который теперь будет стоять на его, инока, деянии.

* Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. – М., 1990. – С. 489.

** Достоевский Ф. М. Собрание соч. в 15 т., т. 9. – С. 353.

Возникает вопрос: но ведь уклонившиеся от жертвы не претерпели урон, они сохранили себя и свое – почему же не им принадлежит приоритет в созидании? Или не тем, кто действует по принципу «на тебе, Боже, что нам негоже»??

Обладать приоритетом можно, лишь вступив в жертвенное отношение и по его итогам. То есть нужно авторизоваться, воистину став хозяином своего – но разве можно стать суверенным властителем своего, без реализации права на отчуждение, дарение, уничтожение? Вспомним расхожий софизм: «То, что ты не потерял, то у тебя есть, тем ты располагаешь. Но ты не терял рога, значит, они у тебя есть...» Теперь, улыбнувшись, преобразуем этот софизм в настоящую философскую максиму: «Того, что ты не терял, у тебя, в сущности, и нет, или *все равно что нет*».

Недостающее можно приобрести, но лишь потерянное – обрести. Обретения нет без потери и утраты. Жертва интенсифицирует и приумножает обретение, придавая ему новый статус. Так, лишь жертвоприношение позволяет обрести самого себя, оно же может помочь обрести друзей среди прежних врагов. Или дать жизнь богам, если понимать бога как объект возобновляемых жертвоприношений – для структурализма это вполне работающее определение. А если ты не сотворишь богов, то как получишь их покровительство? Таков круг кулы, таков же и непорочный круг жертвоприношения. История о том, как и когда умерли бессмертные боги Олимпа, проста и к ней нечего добавить: когда им перестали приносить жертвы. Ими, их изваяниями и изображениями, продолжали любоваться, истории о богах продолжали слушать и читать, это с удовольствием делают и по сей день. Но когда Зевсу

перестали приносить в жертву быка, а Артемиде агнца, когда погасли огни жертвенников, оставалось лишь констатировать: боги мертвы. В это же самое время угас и дух Эллады, и сама античность погрузилась в Аид, в царство теней, в царство мертвых.

Жертвы угодные и неугодные

Каин стал изгоем еще до того, как перестал быть сторожем брату своему:

«И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел» (Быт. 4:2–4:5).

Так в Ветхом Завете вводится важнейшая дихотомия угодной и неугодной (отвергнутой) жертвы, что делает самое радикальное человеческое деяние еще более радикальным. Задумаемся над этим. Бог может отвергнуть жертву, отклонить без объяснения причин – «не призрел» и все. Яхве просто дает Каину совет, как быть дальше, не объясняя, почему Он призрел жертвоприношение Авеля, а Каиново отверг. Допустим, Каин выбрал бы стратегию сбережения, проявил жлобство и не принес бы жертвы Господу. Тогда отвергнутость самого Каина не вызывала бы вопросов: не совершающий жертвоприношения не участвует в созидании души. Но Каин принес жертву, и нигде не сказано, что она стоила ему меньше, чем Авелю. Дело вовсе не в этом, а в том, что Господь *не призрел* ее.

Дело также и в том, что в истории с Авраамом (вновь вернемся к ней) вся поздняя теология неверно расставляет акценты. Вот Авраам занес руку с жертвенным но-

жом, но Господь отвел его руку. Но мы спешим представить себе тот ужас, который ожидал бы Авраама (и нас), если бы Бог не отвел его руки и Исаак был бы повержен, лишен жизни. Как уже отмечалось, мы неверно представляем себе самое ужасное для Авраама. Мы забываем главное: Господь отвел руку Авраама, но он *принял* его жертву. Самый ужасный ужас для Авраама состоял бы в том, если бы Бог, отведя руку, отклонил бы и жертву. Тогда Авраама постигла бы участь Каина. Его семья не получило бы благословения, и сохраненная жизнь Исаака вряд ли утешила бы Авраама *в этом случае*. Вспомним Каинову участь: отвергнутая жертва обрекла его на то, чтобы быть сторожем успехов брата своего, получившего обетование и благословение. Каин отказался быть «сторожем брату своему» и перешел грань между неуютной жертвой и проклятием.

Великое чаяние всех времен и народов состоит не в том, чтобы обойтись без жертв, оно гласит: «Чтобы жертвы наши были не напрасны». Да избегнет нас Каинова печаль и следующая за ней Каинова печать. Но пути Господни неисповедимы даже в этом, точнее говоря, в этом прежде всего.

Важнейшим условием высшего обещания и обетования является хорошая память, вопрос в том, чья именно. Крайне существенно, чтобы *давший обещание* не забыл его, чтобы он не пожалел усилий для исполнения обещанного – об этом исчерпывающе написал Ницше в «Генеалогии морали». Однако, если давшие обещания забудут их или не смогут исполнить, мир все-таки устоит. Ведь подобное положение вещей существует и сегодня и именуется политикой. Но вот если обещанное забудет тот, кому обещали, мир может рухнуть – потому-то Бог есть

непременный гарант того, что ему обещано. Бог есть тот, кто не забывает обещанного Ему, и на этом держится мир.

Но с жертвоприношением ситуация другая. Здесь мы имеем дело с предельным теургическим жестом: лишь человек жертвующий обретает богов, но, одновременно, божественное неразрывно связано с возможностью отклонения жертвы, и капризность здесь ни при чем, она возникает в случае человеческого вторжения в эту монополию Всевышнего.

Логика демиургического созидания

Решающе важным моментом является неизменность дистанции между принесением жертвы и принесением пользы. Эту важность можно пояснить с помощью нескольких незатейливых изречений.

Наши *партнеры* – это те, кому мы приносим пользу, и поскольку данное отношение может быть только симметричным, они тоже приносят пользу нам, иначе речь идет об эксплуататорах и поработителях, а не о партнерах. В более узком и строгом смысле слова это диапазон взаимной выгоды. Партнерские отношения выступают в качестве регулятивного принципа слишком человеческого; мир, в котором все приносят пользу друг другу, остается хоть и недостижимым, но понятным.

Наши *близкие* суть те, кому мы приносим жертву – при условии, что жертва принимается. Идеал и регулятивный принцип близости – согласованность встречных жертвоприношений. В простейшем случае это взаимная усталость ради и во имя друг друга. Но если жертва отвергается, близкий человек превращается в предателя, мучителя или бесчувственное чудовище.

А *боги* – это те, кому приносят жертву без каких-либо гарантий, что жертва окажется угодной и будет принята.

Подобный выбор знает и любовь – в тех случаях, когда мы обожествляем любимую или любимого, и самое удивительное в том, что на какое-то время любовь может это пережить. Здесь кроется некий упущенный смысл тезиса «Бог есть любовь» – воистину божественное в любви вовсе не созерцание небесных сфер и диалектических переходов и не безграничное милосердие, проходящее по собственному ведомству, а квинтэссенция жертвенности – право отвергнуть жертвоприношение любящего и остаться при этом любимым. То есть право играючи воспользоваться эксклюзивной прерогативой Бога, которой не обладает никто из земных властителей, кроме любимой и любимого.

Жертвенный кризис, Новое время и современность

Новое время характеризуется не просто распадом жертвенных практик, можно сказать, что отлив жертвоприношений служит конституирующим фактором Нового времени как такового, – об этом говорят и Ницше, и Жиран. Но теперь у нас появляется возможность взглянуть на дело иначе. Да, всеобщая редукция ставок бросается в глаза; даже остающиеся еще символические и замещающие жертвы утратили в сознании участников связь с жертвенным началом и воспринимаются как досадные, неизвестно почему сохраняющиеся помехи и задержки созидания, сегодня девиз «обойтись без жертв» становится символом успеха в любом деле.

Презумпция сохраненности сегодня декларируется в качестве универсального этического принципа, что

означает замену жертвоприношения пользоприношением во всех регионах человеческого присутствия.

Жертвенная практика изменилась институционально, но это отнюдь не значит, что она исчезла навсегда. Сегодня жертвенный кризис состоит, скорее, в другом – в наступлении эпохи *неугодных жертв*, жертв непринятых и отвергнутых. Примерно в это же время стали говорить о богооставленности, которая не обязательно должна быть связана со смертью бога, с упадком его всемогущества. Достаточно того, чтобы Бог *не призрел* ряд приносимых ему жертв, отверг их одну за другой и тем самым не возобновил завета. Он *еще* не отвергает даваемые ему обещания, но угодных ему жертв становится все меньше и, видимо, как следствие, меньше становится и жертвоприношений вообще.

Особенное отчаяние это должно вызывать у великого жреческого народа, чьи жертвы когда-то были так угодны, что последствия сказываются до сих пор. Представители народа и в самом деле размножились, как песок морской: в науке, в культуре, во всем символическом производстве и в современных элитах. Но это было давно, быть может, жертвоприношение Исаака было последней великой жертвой, одобренной свыше. С тех пор шли только сбой и неудачи, по сути, напрасные жертвы...

В спекулятивном смысле это выглядит так. От испанского изгнания и до наших дней продолжается черная полоса. Ничего не дало жертвоприношение России, в которой евреи стали первенцами, обрели первородство. Холокост, если трактовать его в соответствии с названием как все-сожжение на жертвенном огне, был (и в этом весь ужас) напрасной жертвой – таково самоощущение большинства уцелевших жертв. Лишь немногие, верующие так, как ве-

ровали Авраам и Моисей, терпеливо ждали, пока Б-г примет жертву, и обретение государства Израиль стало для них знаком, что жертва была угодна Господу. Что касается непомерных потерь, то как раз они, верующие в Бога Авраама, Исаака и Иакова, знали, что нрав Его всегда был суров и со времен Содома и Гоморры ничуть не смягчился. Да, раз в тысячелетие Он может отвести занесенную руку с ножом от Агнца, но может и не призреть искренней жертвы, и обратить песок морской в бетон для Стены Плача.

С точки зрения «величайшего жреческого народа», как называл его Ницше, после обретения Царства на повестке дня должен стоять Храм. И поскольку текущая жизнь проходит во времена Неугодных Жертв (такие уж времена), то при самом тщательном отношении к отделению агнцев от козлиц, к выбору чистых и непорочных для Всеожожения, возможно, потребуется еще одна попытка.

Пожалуй, еще рано подводить итоги последней по счету попытки, но, кажется, Яхве и на этот раз отвратил свой лик. А ведь жертвенный проект, так и не получивший единого, общепринятого имени (в числе пробных названий – «неогуманизм», «толерантность», «политкорректность», глобализм) был осуществлен в планетарных масштабах. В жертву вроде бы принесены лучшие: самостоятельно мыслящие, наделенные высоким уровнем притязаний, люди из колен Эйнштейна и Фрейда. Им пришлось уступить свое первородство *малым сим* и даже малейшим из малых. Эталонам нового человечества были избраны (или назначены) кроткие, незлобивые, несчастные, выпускники спецшкол, для которых верхом карьеры может служить работа в пиццерии, клинические и социальные аутисты, наконец уверовавшие в социальную

рекламу как в скрижали Завета, словом, хуматоны, закваска нового человечества. Их запросы и были утверждены в качестве оптимального уровня притязаний (а что сверх того, то от лукавого, то гордыня и суета сует), в результате чего носители бóльших возможностей стали, скорее, носителями отклонений. Но главное то, что незатейливое счастье хуматонов было возведено в эталон насыщенной, состоявшейся жизни, стало образцом успешной, признанной самореализации.

Воистину удивительный вид имеет этот спектакль со стороны. Вот обладатели изоощренного ума, высоких амбиций, настоящей душевной широты, словом, традиционные претенденты на роль лучших, обладатели качеств признанной элиты. И все это предстояло принести в жертву носителям незатейливого счастья, умерить свой уровень притязаний до их уровня, устыдиться своего превосходства, которое ныне считается вовсе и не превосходством, а обременением.

Всем инстинктам жизни надлежало пройти *денатурацию*, когда сначала было отключено сверхъестественное, а затем извращено и денатурировано и естественное. С какой-нибудь удаленной, инопланетной дистанции это выглядит как преклонение перед уродцами, отщепенцами в виде «щепочек», которые из всего диапазона души удерживают только узенький участок. Причем они как бы отщепенцы «с разных боков», объединенные лишь общим принципом денатурации, извращенностью того или иного инстинкта или, наоборот, гипертрофией той или иной частичной способности. Не о них ли писал пророчески Ницше в своем «Заратустре»:

«И когда я шел из своего уединения <...> я не верил своим глазам, непрестанно смотрел и наконец сказал:

“Это – ухо! Ухо величиною с человека!” Я посмотрел еще пристальнее: и действительно, за ухом двигалось еще нечто, до жалости маленькое, убогое и слабое. И поистине, чудовищное ухо сидело на маленьком, тонком стебле – и этим стеблем был человек! Вооружившись лупой, можно было разглядеть даже маленькое завистливое личико, а также отечную душонку, которая качалась на стебле этом. Народ же говорил мне, что большое ухо не только человек, но даже великий человек, гений. Но никогда не верил я народу, когда говорил он о великих людях, – и я остался при убеждении, что это – калека наизнанку, у кого всего слишком мало, и только одного чего-нибудь слишком много.

<...>

Поистине, друзья мои, я хожу среди людей, как среди обломков и отдельных частей человека!»*

Никакой здравый смысл не может вместить этой нелепости – только логика жертвы может как-то описать ситуацию: носители Первородства преклоняют свои снопы перед бастардами и недоносками, сон Иосифа как бы реализуется в обратном направлении: как только появляется тугой сноп со свежими жизненными силами, вокруг него тут же встают косые, кривые и трухлявые снопики, а очередной Иосиф Прекрасный поклоняется им и просит прощения за то, что не был *особым ребенком*, за то, что он не разносчик пиццы, не активист гей-сообщества и вообще ничего не сделал для того, чтобы облегчить положение геев в Катаре и суннитов в Сирии, которых кровавый режим Асада лишил возможности истреблять христиан. Вместо этого он, студент Кембриджа, солист Ла Скала, конструктор коллайдера – так пусть же сноп его поникнет перед снопами сухими и кривенькими,

* Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. – М., 1990. – С. 100.

пусть не портит общей картины, когда одобренный горизонт признанности выравняется по минимальному уровню притязаний (то есть ниже плинтуса), а выдающиеся пусть выдаются незримо и тихо, не забывая славить продукты денатурации как соль земли.

Этот грандиозный жертвенный проект поначалу шел почти без сбоев, истеблишмент стыдливо признал первородство новых носителей духовности и должным образом организовал поклонение им. Казалось уже, что Господь принял, призрел эту жертву и восстановление Храма не за горами... Но все изменилось в одночасье: восстала из пепла Россия, как птица Феникс, восстановив собственное жертвенное священнодействие, затем обозначили свой выбор народы Европы и Америки, выбор совершенно неожиданный для жрецов Транспарации. Нормальные граждане, носители здравого смысла, не захотели быть агнцами для всежжения и, словно бы стряхнув наваждение, вырвались на свободу.

Конечно, об окончательных итогах судить пока рано, но похоже, что и эта, тщательно подготовленная жертва оказалась неуютной Б-гу Авраама, Исаака и Иакова – что позволяет нам и вправду охарактеризовать Новое время как эпоху отвергнутых жертв, откуда естественно вытекает замена подлинного созидания (включая творение *ex nihilo*) тиражированием и репликацией наличных форм ответственности и социальности.

А что искусство?

Европейское искусство стало преемником сакральной трансляции, если угодно, религии, и это произошло *только* с европейским искусством. Лишь в Европе художник

попробовал себя в роли священнослужителя, жреца и пророка – и распробовал себя в этой роли, и понравилась она ему.

Статус произведений искусства как нетленных и нерукотворных, уже начиная с эпохи Возрождения, находится гораздо ближе к святыням, чем к ремесленным изделиям в самом широком смысле слова, несмотря на «хищный глазомер простого столяра» (О. Мандельштам) и на внутрицеховые признания того же рода. Европейское искусство на протяжении нескольких столетий функционирует как светская религия, где почти каждый параметр практикующей церкви имеет свои параллели. Даже биографии художников, прежде всего их художественные и легендарные биографии, охотно воспринимаются как жития святых – достаточно вспомнить Леонардо, Моцарта, Ван Гога, Пушкина или Толстого.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА